

**П**

оэма «Василий Теркин» явилась для Твардовского своего рода боевым оружием, с которым он «в свою ходил атаку», чтобы поддержать словом воюющий народ, чтобы пробудить в нем веру в свои силы, веру в победу. «Дела на фронте трудные и грозные, — пишет он в августе 1942 года, — время такое, что стыдно идти по улице в военной форме здоровому человеку. Нужно быть там, где самое трудное, а чем там поможешь?» [1, 115]. Словом! Но словом особым, не проходным, не казенным. Он ищет такое слово почти весь первый год войны. «Я должен находить в себе силы для ободряющего слова, это слово, которое либо заключенной в нем доброй шуткой, либо душевностью своей согревает чуть-чуть, расшевеливает то инертное, тягостное безразличие, которое незаметно уживается в сознании усталого от боев и тягот человека. А каких слов он стоит, этот человек!» [48]. Он ищет такое слово и для самоподдержки, для успешного исполнения своей роли «певца во стане русских воинов»: «Если б у меня нашлись такие слова, то было бы полностью оправдано мое пребывание здесь (на фронте. — В.А.) и я мог бы с уверенностью сказать, что я воюю» [48]. А иначе стыдно перед тем Иваном, «на плечи которого свалилась вся страшная тяжесть этой войны...» [48].

О войне как таковой Твардовский многое узнал, будучи участником освободительного похода в Западную Белоруссию, но особенно в период финской кампании. Это была еще «присказка покуда, сказка будет впереди», как сказано в «Книге про бойца». Оказавшись с первых дней Великой Отечественной в опасных переделках спешно отступающего Юго-Западного фронта, он в потрясении отмечает: «Здесь все совсем по-другому, это не Финляндия» [35]. Его короткие сообщения сами за себя говорят: «Писать приходится бог весть в какой обстановке...» [36]; «Я томлюсь иногда, что грозное величие происходящего не могу взять в соответствующие слова...» [41]; «Десятой доли того, что я вижу и думаю, и слышу, я не выписываю в своих стихах» [47]. В боях под Киевом, выполняя корреспондентское задание, он едва не погиб, а позднее только случай помог вырваться из окружения. Писать о войне так, как хотелось, ему пока не удавалось. Пишет он много и всякое, за что «неизменно получает лучшую оценку» в редакции «Красной Армии», но признается: «Сам же скажу, что все это, конечно, газетное, иного и требовать сейчас от себя не приходится» [39]. Газете, а тем более фронтовой, как он говорил, «дорога ложка к обеду», она принуждает к навыкам скорописи, подцензурной информативности, а в душу солдата с этим не проникнешь. «Тут бы слова нужны такие, с которыми на смерть идти, а глядишь — стишки, какие мог бы написать и не я... Конечно, если буду жив, все возьму — ничего не забуду, но особенно важно было теперь, теперь говорить сильно и волнующе» [36]. В газету надо было писать по приказу, на заданную тему, с обозначением нужных моментов, «а как — этот вопрос не только не ставился, но напоминать о нем уже было некоторым эстетствующим вольнодумством. Это вело к «одичанию» души и к мучительнейшей неудовлетворенности тем, что делаешь и делал» [89], — с горечью признается Твардовский. Пережив болезненный кризис, он решил: «Больше плохих стихов я писать не буду, — делайте со мной что хотите. В этом решении я тверд и уверен в своей правоте. Война всерьез, поэзия должна быть всерьез» [90]. Это написано перед самым отъездом из Воронежа в Москву, 18 апреля 1942 года.

Прошло десять месяцев войны. Фронты продвигались к тем рубежам, у которых над нашими войсками, словно удар грома, прогремел приказ: «Ни шагу назад!» Подобный приказ издает для себя и поэт Твардовский: «Выступить в большой печати, почувствовать настоящий уровень требований, делать что-то большее, чем здесь, вообще ощутить себя в «ином качестве». Хуже не будет!» [90].

И тут снова помог ему финский опыт, тетради, написанные там, в которых были наброски нескольких глав будущей поэмы: «Может, кое-что из того оживет». В нем буквально вспыхнул замысел книги об Отечественной войне, которую он пока «не может охватить сознанием». А она, развернувшись на всю страну, «все та же — жестокая, трудная, стоящая стольких жизней, стольких страданий» [67]. В те дни, когда немцы ворвались в Воронеж и уже подходили к Сталинграду, он пишет жене: «Судьба всех нас, всей страны еще никогда, даже в прошлом году, не была так условна. Если бы ты могла представить себе, в кругу каких мыслей мы живем здесь. Не буду говорить даже в письме с okazji...» [113–114]. Вести с фронтов, скупые и обесцвеченные, не радовали. «Гляжу на сводку и бреду, подавленный, обедать. Там встречаюсь часто с В. Гроссманом, идем обратно вместе, беседуем на невеселые темы (вот бы послушать их беседы! — В.А.). К вечеру кое-как развеется впечатление сводки. Ночи чем-то тревожны, темны. Москва без огней печальна и страшновата...» [118].

Твардовский почувствовал: чтобы воплотить свой замысел, надо до конца отдаться каждой главе, каждому эпизоду, каждому слову и самому стать дру-

гим человеком: жить «достоинее и тверже», «подняться в душевном, в моральном смысле», «работать как можно лучше». Раздумывая над поэмой, над устройством ее художественного мира, он одновременно работал над собой, воспитывал себя как автора народной эпопеи, посвященной борьбе «ради жизни на земле». Сюжет самовоспитания пронизывает все его рабочие тетради, дневник и письма военных лет, он так же интересен, как и движение картин, событий и образов в поэме. В этом сюжете мы найдем историю создания поэмы, обоснование творческой стратегии автора, объяснение особых качеств своего поэтического слова. Главное же в нем — это обретение творческой свободы, кажется, невозможной на войне, и поиски самоопределения, в чем-то равноценного статусу солдата в окопе. Он всю войну мучился оттого, что вдруг его слово станет похожим на «хеканье» праздного человека, который издает эти звуки, якобы помогая тому, кто рядом рубит дрова. Он сам хорошо, красиво их рубил и так же хотел исполнить свой писательский долг. Твардовский понимал, какая страшная беда надвинулась на нашу землю и какими невероятными усилиями придется ее одолевать. Все это падает на плечи простых людей, рядовых Иванов, не искушенных в секретах искусства и учено-гуманитарном разговоре. Ему по душе слово всем знакомое, повседневное, с житейскими, а не книжными ассоциациями, слово, располагающее к беседе по душам, а не озадачивающее или отталкивающее. На таком словесном горизонте и работает стих Твардовского, обращенный к общенародному культурному общению. Он был озабочен не собой, а диалогом с теми, кто воевал, кто жил на войне. «Ведь подумать — если мне страшно, то каково же ему, Ивану какому-нибудь, у которого нет столько сознания, нет многого, что есть у меня, а только есть... Впрочем, это долгая и трудная штука» [48]. Твардовский тут обрывает себя — пусть и читатель подумает, что же есть у солдата в окопе. Не похоже ли это на тот таинственно-печальный рефрен, много раз повторенный в поэме?

Что он думал, не гадаю,  
Что он нес в душе своей?

Прибыв из Воронежа в Москву, Твардовский получает назначение в газету Западного фронта «Красноармейская правда» и возможность работать дома: «Я желаю одного: месяца, двух недель, недели сосредоточенной работы, а там хоть на Сахалин <...> Здесь я буду — я и сделаю то, чего без меня покамест не видно, чтобы кто-нибудь мог...» [91, 93]. И он начинает работать с поражающей интенсивностью, со страстью наверстывая упущенное. «Мне необходимо оправдать чем-нибудь серьезным мое теперешнее положение человека, до времени мирно живущего в своей комнате. А писать я сейчас мог бы, как линотип... Одно другое обгоняет... у меня такое чувство, что я почти год ел стоя и теперь сел за стол поесть как следует. Совесть у меня чиста. В самое трудное время я был там, где было очень нелегко. Сейчас я пишу и уверен, что это нужно, необходимо. А когда вышлись основательно, я, конечно, опять поеду на фронт...» [94]. Твардовский ворвался в литературные будни Москвы словно комета. Сурков заявил в докладе на парторганизации, что «стоило появиться Твардовскому в Москве, как появилась новая и особая линия в поэзии Отечественной войны...» [102]. Что это за «линия», Твардовский не раскрывает, но она, несомненно, обозначена, вернее, продолжена после «Страны Муравии» поэмой «Василий Теркин». Поэт прорывался на высоту классики: «И надо было, чтоб в это самое время у меня явилась радостная мысль работать над своим «Теркиным» на новой, широкой основе... Вскоре у меня было уже такое ощущение, что без этой работы мне ни жить, ни спать, ни есть, ни пить. Что это мой подвиг на войне»

[107]. Слово «подвиг» около десяти раз прозвучало в его записях на протяжении всей войны. Но это не похвальба, а высокое обязательство перед воюющим народом, которое можно исполнить только ценою подвига, как берет высоту атакующий боец. Твардовский почувствовал, что он словно пробил потолок, не дававший ему выпрямиться, обрел наконец свободу писать так, как он хочет и может. Он писал в такой окрыленности, в таком вдохновении, что сам себе поражался: «Я ощущаю себя в необычном подъеме. Я вроде человека, который не знал о себе, что он так силен. И вдруг берет бревно — поднимает, таскает и чувствует, что может поднять еще больше и не устает... Я чувствую себя в силах сделать нечто очень нужное людям, которых люблю так, что при мысли о них сердце сжимается. И оттого, что могу, получается, выходит — от всего этого охватывает меня порой такое тревожно-радостное чувство, такое ощущение честного счастья, как если бы я совершил подвиг или готовился к нему...» [133]. Золотые, редкие строки, раскрывающие секрет успеха: свобода творчества, любовь к людям, чувство долга...

22 июня 1942 года Твардовский выступал на военной комиссии СП СССР с отчетом о работе во фронтовой газете «Красная Армия». Вдобавок к отчету он прочитал два стихотворения и три главы новой поэмы. «Вечер прошел блестяще, — сообщает он жене. — Успеха глав «Теркина»... я даже испугался» [107]. Их стали буквально рвать из рук, чтобы у себя напечатать. «Разнообразнейшие люди проявляют к нему («Теркину». — В.А.) большой интерес. В кои-то веки у нас было, чтоб один почтенный критик читал всю до строки поэму другому, не менее почтенному и крайне скептическому критику (Перцов — Шкловскому) и чтоб этот скептик плакал. Различные люди, всевозможные голоса, но все говорят, что книга хорошая. Я понимаю, что на нашем безрыбье здесь возможна переоценка. Но факт налицо: я что-то здесь угадал. Есть что развивать, выращивать» [131].

Вообще-то поражают и первые отклики, прозвучавшие на обсуждении всего лишь трех глав поэмы («От автора», «Гармонь», «Переправа»). О них говорили так, будто это законченная поэма, выдающееся произведение! А они ведь не были еще напечатаны. Приведу несколько отзывов, пронизательных и верных. Арамилев-Зырянов: «Это настоящая работа... Стихи Твардовского будут жить долго». Софронов: «Мне хочется обратить внимание на то, насколько знает Твардовский военный быт, навыки бойца... Все это исключительно тонко». Друзин: «У него большие замыслы эпического порядка... Здесь найдена какая-то оригинальная интонация... чувствуется его легкая поэтическая походка». Адалис: «Это настоящие стихи... такие, что и за голенище заткнешь, чтобы солдат каждую минуту мог их читать, и могут быть книгой, рассчитанной на многие годы...» Федосеев: Василий Теркин — «глубокий полноценный человек с большими чувствами, мыслями». Перцов: «Я получил истинное на-



слаждение от языка — изумительный язык, родниковое, ключевое слово... Это ново, смело, неожиданно». Лейтес: «Василий Теркин» — это «настоящая, подлинная, яркая поэма». Гурвич: «Нужно подчеркнуть национальный характер его поэзии, соответствующий русскому национальному духу... это спокойное, ровное и глубокое дыхание». Колосов: «Наше сегодняшнее заседание — одно из лучших... Вопрос о качестве военной литературы... сейчас очень актуален в связи с годовщиной войны — о качестве работы писателей» [2].

Истинно так, но Твардовский ставил этот вопрос с самого начала войны, и прежде всего перед собой. Он напрямую связал качество военных писаний с борьбой народа на фронте. А если писать без накала, без полнейшей самоотдачи, тогда лучше взять в руки винтовку и прыгнуть в окоп. Писать качественно не означало тогда добиваться славы, карьерного роста. Это значило повышение тонуса жизни и борьбы ради освобождения Родины. Напротив, как это ни парадоксально звучит, «чтоб иметь успех и прочее, — признает Твардовский, — нужно писать так, как я уже органически не могу писать». Работая над «Книгой про бойца», выдавая главу за главой для «Красноармейской правды», он «ходил в свою атаку» вместе с бойцами — поэма была у них в нагрудном кармане, за голенищем кирзового сапога, под каской, и часто ее находили простреленной, всю в крови у раненого или убитого. И когда стали приходиться поэту из окопов и траншей благодарные солдатские отзывы, поэт почувствовал себя совершающим вместе с ними свой подвиг. Теркин поднимал своим словом в атаку, уводил острой шуткой от тяжелых дум в гиблом болоте, одаривал бородача-солдата, потерявшего все на свете, кисетом; призывал помнить и отомстить за святую слезу солдата-сироты, учил быть гордым перед пулей-дураком и осколком-дураком, не бояться самой Смерти, по крайности, плюнуть ей в морду. Он всегда там, где особенно трудно, гибельно, безнадежно, как в главе «Бой в болоте».

Перемокшая пехота  
В полный смак клянёт болото,  
Не мечтает о другом —  
Хоть бы смерть, да на сухом.

Кто-нибудь еще расскажет,  
Как лежали там в тоске.  
Третьи сутки кукиш кажет  
В животе кишка кишке.

Посыпает дождик редкий,  
Кашель злой терзает грудь.  
Ни клочка родной газетки —  
Козью ножку завернуть;

И ни спичек, ни махорки —  
Все раскисло от воды.  
— Согласись, Василий Теркин,  
Хуже нет уже беды?

[3, 248–249]

Теркин утешает солдат не шуткой — будто «на курорте мы находимся теперь», а правдой, еще более страшной, чем это гибельное болото, то есть понародному клин клином вышибает. С бедой справляться больше некому, только самим: «Ну, война — так я же здесь».

Ты в строю, прошу усвоить,  
А быть может, год назад  
Ты бы здесь изведал, воин,  
То, что наш изведал брат.

Ноги б с горя не носили!  
Где свои, где чьи края?  
Где тот фронт и где Россия?  
По какой рубеж своя?

[4, 250]

Теркин хорош тем, что он «свой», надежный до конца, не бросит в беде, не выдаст, не предаст, не полстится на приманки и посулы. «Ты взял в герои коренника, — писала ему Мария Илларионовна, — то есть лошадь, которая наиболее прочих везет, тянет» [5, 374]. Дотянул до победы...

Каждая глава «Книги про бойца» — это поэма в миниатюре, ее часть, подобная целому. Они, эти главы, разнообразны по материалу и настроению, по этапам, периодам, полосам войны и ее состояниям (окружение, отступление, переправы, оборона, наступление, времена года и т. д.), по территориальной привязке событий, но в каждой из них война предстает в ее сути и целостности — как тяжкое, смертное испытание тела, духа и совести и как победа в этом испытании. Подобному испытанию подвергается и так же побеждает автор «Книги про бойца», предъявляя ее народу в завершенном виде. Рабочие тетради, дневники и письма Твардовского, изданные стараниями дочерей, явились своеобразным аналогом поэмы, ее ожившим собеседником и толкователем. Их надо читать в параллели, и тогда очевиднее предстанет труд поэта, преобразующая сила его искусства, его подвиг.

«Поэмой неожиданностей» назвал «Книгу про бойца» известный литературовед, автор капитального труда «Лирика и эпос Великой Отечественной войны» А.М. Абрамов. Для многих воюющих людей она стала «эпопеей», «энциклопедией», «летописью» войны. «Но вот что примечательно, — уточняет он, — в этой эпопее автор при изображении основных этапов войны миновал все исторические битвы, все важные события, о которых говорит история. В поэме нет ни битвы под Москвой, ни тех сражений, что связаны исторически с периодом перелома в ходе войны. И даже последний этап войны — Берлин... и тот дан в поэме поистине по-теркински: без рейхстага, без надписей на нем и без других громких примет, ставших непременными при рассказе о последних днях великого сражения» [6, 393]. И о многом другом можно говорить в поэме, не совпадающем с тем, что в ней должно быть по фактографическим представлениям. Но тут причина другая...

Поэма неожиданна прежде всего своим появлением, продолжением и завершением во фронтовой газете, на опасных дорогах войны, где она вместе с автором попадала в большие и малые сабантуи. Это ведь и о себе сказано Твардовским в одной из глав поэмы:

Ветер злой навстречу пышет,  
Жизнь, как веточку, колышет,  
Каждый день и час грозя.  
Кто доскажет, кто дослышит —  
Угадать вперед нельзя.

[7, 224].

Она неожиданна и для времени войны — по своему объему: 30 глав, более 180 страниц текста — и какого текста! Неожиданна по своему жанру, над определением которого так бился Твардовский, остановившись на широком, философском «книга» — по открытости и смелости разговора о наших бедах и поражениях, об отступлении (это слово запрещалось во фронтовой печати вплоть до 1944 года), о массовом пленении и гибели бойцов и т.п. И, как бы вопреки всему, эта поэма — самое светлое, самое оптимистическое произведе-

ние о войне, самое дружественное и контактное со своим читателем. О ней много не удастся сказать, когда ее рассматривают в ряду других поэм, а она, по словам А. Суркова, возвышается, как Монблан, и требует разговора без скидок на время и обстоятельства. «Книга про бойца» обманчива своей простотой и ясностью, в ней есть как бы подледное, скрытое течение смыслов, доступное слуху при многократном прочтении, на которое редко кто из нас отважится. Твардовский сам «виноват» в этой обманчивости, открыто породнив Василия Теркина с шутейным Васей финской кампании и дав ему такую простецкую, «кухонную» фамилию. В 30-е годы его городские коллеги говорили о «Стране Муравии», что она «про хомуты», то есть о мужике, неспособном вести разговоры на высокие литературно-философские темы. Но кто лучше написал о русском крестьянине, о его мучительном самоопределении, о поисках своего пути в разворошенном великом переломе мире, своей труженической свободы на изломе времен? Судьбу войны, полагает И. Шафаревич, «решили те самые крестьяне, которые перед тем так много вынесли на своих плечах. Как можно объяснить это чудо, если не тем, что война дала возможность распрямиться во весь рост, открыла путь честной, добровольной жертвы...» [7, 273]. Василия Теркина можно назвать младшим братом или сыном Никиты Моргунка, он вынес на своих плечах всю войну, обретя солдатскую «свободу», которая соизмерима с крестьянской.

Раз война — про все забудь  
И пенять не вправе,  
Собирался в дальний путь,  
Дан приказ: «Отставить!»

[8, 183].

В отказе от себя была особая свобода, облегчавшая муки выбора в жертвенной ситуации. Иными путями к победе не придешь, и она у Твардовского тоже особая, с горячей слезой на глазах солдата-сироты. Да, он пришел как победитель в логово врага, но что-то не торжествует, не особенно радуется.

Может, здесь еще бездомней  
И больней душе живой,  
Так ли, нет, — должны мы помнить  
О его слезе святой.

[9, 312].

В дневнике Вс. Вишневского 2 мая 1945 года появляется такая запись: «Особой торжественности, которой мы ждали от взятия Берлина, от победы — нет. Пройден слишком большой и трудный путь!» [10, 909].

Для Твардовского память первого дня войны, «память великого всенародного бедствия, память горя» всегда влетается в «память торжества и счастья, память победы». Но такова и его великая поэма, созданная творческим подвигом поэта «в дни беды и в дни побед». Жить на светлой стороне, как говорится в рекламе, и не помнить о темной, о трудной — это как-то не по-народному. Война — это трагедия, это великое испытание в жизни народа. «Для множества людей, при всем том, что она была трудна и очень многое отняла, была самым значительным периодом их жизни, подняла их духовно, приобщила их к понятию вещей, которые раньше были им недоступны. Эти люди сейчас совсем иные», — говорил Твардовский на X пленуме правления СП СССР 17 мая 1945 года [11].

Не надо забывать об этих итогах войны, они работают на будущее, как и поэма Победы А. Твардовского...

*P.S.* В декабре 1945 года И. Сельвинский во внутренней рецензии на поэму «Василий Теркин» для издательства «Советский писатель» завершает «свою агитацию горячим желанием поздравить нашу советскую литературу с самым обыкновенным гениальным произведением» [12, 249].

### *ЛИТЕРАТУРА:*

1. Твардовский А. «Я в свою ходил атаку...»: Дневники. Письма 1941–1945. — М., 2005. — С. 115. Далее страницы этого издания указываются в тексте.
2. Романова Р. Александр Твардовский. Труды и дни. — М., 2006. — С. 198–200.
3. Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 6 т. — М., 1977. — Т. 2. — С. 248–249.
4. Там же. — С. 250.
5. Твардовский А. «Я в свою ходил атаку...»... — С. 374.
6. Абрамов А. Лирика и эпос Великой Отечественной войны: Проблематика. Стиль. Поэтика. — М., 1975. — 2-е изд. — С. 393.
7. Шафаревич И. Есть ли у России будущее? // Из-под глыб: сб. статей. — М., 1977.
8. Твардовский А.Т. — Т. 2. — С. 183.
9. Там же. — С. 312.
10. Вишневский Вс. Собр. соч. — М., 1958. — Т. IV. — С. 909.
11. Твардовский А. Выступление на X пленуме правления СП СССР // Литературная газета. — 1945. — 17 мая. — № 21.
12. Сельвинский И. Рецензия на кн.: Твардовский А. Василий Теркин. Книга про бойца // Романова Р. Александр Твардовский. Труды и дни. — М., 2006. — С. 249.

